

ГИЛБЕРТ КИТ ЧЕСТЕРТОН И ЕГО ТРАКТАТЫ¹

Вероятно, почти все признают Честертона классиком английской литературы, хотя бы классиком детектива. Читают его много, знают — мало и потому все еще удивляются, что писал он не только о католическом священнике, отце Брауне, чье священство нередко воспринимается как условность, но и о католических святых, и о христианстве вообще. После этой книги, видимо, удивляться будет трудно — в ней собраны его трактаты, которые, надеюсь, говорят сами за себя. Пересказывать их не стану; и здесь лишь попытаюсь предостеречь от недоразумений, постоянно возникающих, когда речь идет о Честертоне.

Внешне и житейская, и литературная судьба Честертона очень счастлива. Родился он в уютной и просвещенной семье 29 мая 1874 года, учился в одной из старейших и лучших школ, в 25–26 лет стал необычайно популярен, писал много, умер легко. Он был рассеянным и добрым, огромным и неуклюжим; его сравнивали с Рождественским Дедом. Когда ему было 34 года, он написал «Ортодоксию», книгу о правовереии — наверное, одну из самых радостных книг нашего века.

Можно тут же описать и «второй план» — в отрочестве, юности и ранней молодости он невыносимо

¹ Статья печатается по изданию: *Честертон Г. К. Вечный человек*. М.: Издательство политической литературы, 1991.

страдал от духа времени, лишенного надежды, любви и веры, и от собственного душевного мрака; всю жизнь хворал; на пятом десятке стал смертельно терять популярность и к концу жизни был если не посмешищем, то одиноким пророком. Некоторые критики полагают, что ему лучше было бы умереть в 1914 году. Он тяжело и странно болел, долго был без сознания, и можно сказать, что эта болезнь разделила его жизнь надвое.

Ему было ровно 40 лет. Шоу написал тогда, что возраст этот — роковой для великих людей, чаще всего они умирают. Скорее, такой возраст — 37; но не в этом дело, все тут тайна. Честертон как будто и впрямь умер. До этого он был веселым любимцем англичан, почти все лучшее (из романов и рассказов) написал, всех непрестанно смешил и сам вроде бы непрестанно веселился. Он сочувствовал либералам, до 1909 года — очень активно. У него было только одно несчастье, незадолго до болезни: его младший брат Сесил, известный и смелый журналист, попытался обличить фирму Маркони, которая получала выгодные заказы, тайно ссужая высоких чиновников деньгами, и потерпел полную неудачу. Для старшего брата это оказалось, быть может, еще большим ударом, чем для него.

Началась Первая мировая война. Честертон тяжело заболел. Сесил ушел на фронт, потом погиб. Лет за шесть Гилберт Кит не написал ничего, равного прежним его эссе и рассказам; романов и трактатов вообще в это время не было. Позже, в 20-е годы, вышел новый сборник рассказов об отце Брауне и сборник о другом «сыщике-любителе», Хорне Фишере. Герой его — очень грустный человек, совершенно разуверившийся в том, что политика, да и общественная жизнь, может быть мало-мальски честной.

Стал ли грустным Честертон? Одни пишут, что он стал мудрым, другие — что он стал жалким. Кто бы ни

оказался прав (скорее всего, и те и эти), уже не он бросал вызов миру; мир от него отвернулся. Конечно, он оставался живым классиком или на худой конец чем-то вроде полуклассика. Веселил он меньше, меньше и веселился. Он радовался, но радость, особенно в его системе ценностей, ничуть не противопоставлена печали.

То, чему он радовался, уже никак не относилось к «веку сему» — ни к общественной жизни, ни к идеям, ни к проектам. Надежды он ничуть не потерял, но надеялся только на очень простые, частные вещи, связанные не с человечеством, а с человеком.

Третьим, самым важным планом его жизни была несокрушимая, благодарная радость. С той минуты, как юношеский мрак сменился постоянным ощущением чуда, он этой радости не терял и написал о ней перед смертью, в последней главе своей биографии (этой главой, такой важной для него, кончается и наш сборник).

Англия же в то время вступила в ту полосу всезнайства, всеотрицания и вседозволенности, последствия которой мир еще и сейчас не расхлебал. На что ей был набожный Честертон, верящий в крестьянство, в природу, в семью, в мужество и целомудрие? Католики хвалили его. Читатели же — не его любимые «common people» (простые, обычные люди), а, по его словам, «те, кто живет среди книг и трибун», — с некоторым презрением удивлялись ему.

Как говорил он сам, случилось так потому, что люди догадались — он пишет всерьез. Этого никогда не любят, а уж в 20-х годах XX века это было совсем не ко времени. Вызов, который он бросал миру, наконец поняли — и ответили удивленным пренебрежением. И тут вышла книга, которую считают лучшей апологией нашего столетия, — «Вечный человек».

Конечно, так считают католики, надеюсь — вообще христиане. Еще в 60-х годах, когда ее стали читать у нас, она удивляла «ненаучностью». Не будем спорить о том, так это или не так, — смысл ее вообще не в этом, — но ведь культ науки был и в 60-х годах, и в 30-х. Словом, ни этот трактат, ни другой, о Фоме Аквинском (1933), не изменили того отношения к Честертону, о котором мы только что говорили, — скорее способствовали разочарованию.

Умер он сравнительно рано, всего шестидесяти двух лет, 14 июня 1936 года. Рональд Нокс, священник и критик, написал на его смерть несложный сонет. Приведу эти стихи, чтобы показать, каким был Честертон для своих искренних почитателей:

«Со мной он плакал», — Браунинг сказал.

«Со мной смеялся», — Диккенс подхватил.

«Со мною, — Блейк заметил, — он играл».

«Со мной, — признался Чосер, — пиво пил».

«Со мной, — воскликнул Коббет, — бунтовал».

«Со мною, — Стивенсон проговорил, —
Он в сердце человеческого читал».

«Со мною, — молвил Джонсон, — суд вершил».

А он, едва явившийся с земли,
У врат небесных терпеливо ждал,
Как ожидает истина сама,

Пока мудрейших двое не пришли.

«Он бедных возлюбил», — Франциск сказал.

«Он правде послужил», — сказал Фома¹.

Ключ к сонету прост — именно об этих людях у Честертона есть книги (о докторе Джонсоне — пьеса). Известней всего — книга о Диккенсе (1906). Книги о «двух мудрейших» читатель найдет в этом сборнике. Вторую из них ценили многие томисты XX века. Соз-

¹ Пер. А. Якобсона.

дан «Святой Фома Аквинский» незадолго до смерти, Честертону было трудно писать, он диктовал, и секретарь его Дороти Коллинз рассказывала, что он говорил ей: «Давайте-ка поделаем Томми!» Книга очень неровная, но — как почти всегда у Честертона — некоторые абзацы, а порой и страницы с лихвой искупают ее недостатки. «Святой Франциск» ровнее, он написан (не надиктован) раньше, в 1923 году, вскоре после того, как Честертон и формально стал католиком.

Когда Честертон умер и Нокс читал свой сонет вместо надгробного слова, пришла телеграмма из Ватикана, в которой человека, называвшего себя только журналистом, именовали «защитником веры». Вскоре Уолтер де ла Мэр написал еще одни стихи, для надгробия, и всякий, кто приедет в Биконсфилд, увидит слова: «Рыцарь Святого Духа...»

Надеюсь, этому уже не удивятся — но возникает другое затруднение. Когда неизданные переводы его статей и книг стали ходить по рукам — а началось это в 1961 году, — читатели, знавшие понаслышке, что он проповедник и апологет, нередко удивлялись его непозволительной легкости. Одних христианских мыслителей читать трудно, других — нетрудно, но все же они посерьезней, чем какая-то «христианская журналистика». Легкость его вводила в соблазн, и многие склонны были, несмотря на объяснения, решить, что он все же эксцентрик ради эксцентрики, но — в отличие от любителей его детективных притч — не восхищались этим, а скорее недоумевали.

Всякому, кто собирается читать Честертона, полезно помнить, что так бывает с ним всегда. Он любил сюжеты, основанные на том, что кого-то просто не видят, чего-то не слышат. Именно это случилось с ним самим, в нем постоянно не замечают чего-нибудь; и этот очерк — только перечень слепых пятен. Тем,

кого смутила его легкость, помочь нетрудно. Честертон легок, но не легковесен. Он не относился всерьез к себе, но всегда принимал всерьез свои мнения. Наверное, больше всего на свете он ненавидел гордыню. Собственно, незачем гадать: он абсолютно верен учению, согласно которому гордыня — грех грехов, и сам писал, что если бы ему дали прочитать одну-единственную проповедь, он говорил бы именно о гордыне. Гордыне он противопоставлял смех. Конечно, он знал, что есть смех гордый и жестокий, смех-глумление; но полагал, что большая опасность в напыщенной серьезности, и противопоставлял ей смех-смирение, первый признак которого — готовность быть смешным, посмеяться над самим собой.

Чтобы этому не изменить, он, всегда за все плативший, намеренно снижал жанр, слог, манеру и своего добился — проповедь его прикрыта, прикровенна. Нельзя гордиться, что ты его читал, нельзя глубокомысленно его цитировать; многого с ним сделать нельзя. Если он для вас не «учитель надежды» (одно из его прозваний — *Doctor spei*), вы усмехнетесь в лучшем случае снисходительно, в худшем — презрительно. С глупой, многозначительной серьезностью к нему относиться невозможно.

Поэтому именно он имел право написать о Божьем дурачке, святом Франциске. И тут возникает еще одно затруднение: конечно, кому же еще писать о том, кого именовали «человеком среди святых»? Вспоминаешь, как почитали Франциска либералы прошлого века. Честертон, назвавший одного из любимых героев «последним либералом» и сказавший, что больше всего на свете сам он любит свободу и английские стихи, вполне мог, казалось бы, противопоставить чудачество, смех, свободу всему, совершенно всему остальному. Но это не так.

Чтобы сократить рассказ о «слепых пятнах», прибегнем к тому, что очень любил Честертон, — к трюизмам и к простейшей логике.

Можно быть суровым к себе и другим. Можно быть к себе и другим милостивым. Можно, хотя и мерзко, быть милостивым к себе, а к другим — суровым. Поборники «порядка любой ценой» часто суровы к «беспорядку» вообще — и к своему, и к чужому. Это честно, но очень опасно. Люди 20-х годов (называю их так условно) думали, что они легко прощают и чужие, и свои грехи, особенно «грехи энтропии»; слишком уж всякий порядок был связан у них с тем, что они отвергали, словно подростки, собираясь начать все заново. Франциск был предельно милостив к другим. Если это — либерализм, он — либерал из либералов.

Стоит ли напоминать, особенно после этой книги, что путь святого Франциска не шире и легче других, а уже и труднее? Конечно, в отличие от катаров, протестантских движений, позднейших сект, он с жалостью и любовью смотрел на тех, кто живет иначе. Он не отсекал их от церкви, и все же они были для него «христианами слабого посла», как выразился один нынешний францисканец. Видимо, он считал, что подобные ему и его братцам несут на себе их грехи, отвечают за них, как отвечают взрослые за неразумных детей; но это уже другая тема, сказано об этом много, и здесь в ней не разобраться. Что до Честертона, он действительно «возлюбил бедных». Невольно вспоминаешь Иоанна Златоуста, когда читаешь у него обличения «богатых» (об Евангелии не говорю, слишком часто доказывают, что таких обличений в нем нет). Он именно любил бедных — не только жалел их, но восхищался ими. «Бедные, алмазы Божьи...» — пишет он в эссе «Великан», «трогательные радости бедных» описывает в «Диккенсе». Но верный срединной традиции,

он не ставил во главу угла путь добровольной бедности. Франциск считал, что высшую радость обретает только тот, кого прогонят от дверей ненастной ночью. Честертон даже и не пытался встать на такой путь и, что удивительней, почти не славил его, не призывал к нему. «Дом» для него, может быть — главное, ключевое слово. В стихах из «Перелетного кабака» и в одном эссе он отождествляет дом и свободу; в другом эссе, неправильно прочитав слово в старой книге, доказывает, что небеса — это замкнутое место, четкое и уютное, как дом.

Конечно, и Честертон, и Франциск прекрасно различали «мир сей» — падший, полный суеты и страстей — и «мир благой»; однако Франциск добровольно отказался от здешних, земных даров — семьи, дома, доброго застолья, а Честертон не отказался. Тем не менее, говоря о Честертоне, некоторые исследователи называют его аскетом, так как он был «прикован к мысли». Существует и другое предположение, дополняющее, а не отвергающее это: может быть, он видел, что в наши дни, как между боями или в лагере, просто не нужны добровольная нищета и добровольное унижение. Именно об этом мне говорил осенью 1966 года Генрих Бёлль и даже написал статью, к сожалению неопубликованную.

Как бы то ни было, Честертон глубоко почитал освященный многовековым опытом путь к совершенству; однако в романах, рассказах и даже эссе он славит и постоянно описывает людей, принявших дары «благого мира». В статье о Бернарде Шоу, напечатанной в сборнике 1984 года¹, к сожалению, нет конца (его зачеркнули в корректуре), а заканчивается она так: «Когда Христос основал Свою великую Церковь, он положил в ее основание не боговидца Иоанна, не гениального

¹ См.: Честертон Г. К. Писатель в газете. М., 1984. С. 66–70.

Павла, а простака, ловчилу, труса, словом — человека». У Честертона всего два героя вроде Франциска, скорее даже вроде ангела; первый из них — афонский монах, второй — раскаявшийся вор. Остальные «добрые христиане» у Честертона разные, но далеко не такие светносные, от простодушного и мудрого отца Брауна до людей самого что ни на есть «слабого посла». Иногда кажется, что Честертон чуть-чуть сдвигает границу «благого мира», захватывая что-то из «мира сего», — он чрезвычайно терпим к довольно спорным свойствам «людей Петра», к прижимистости, скажем, к воинственности, к самой нетерпимости.

Вполне возможно, что он опасался, как бы легкость Франциска не истолковали неверно, не приняли за аномию и анархию. Ведь это бывало — и в движениях Средневековья, и в недавних поветриях, когда, скажем, хиппи совершенно серьезно сравнивали себя не только с Франциском, но и с апостолами, если не с Христом. Честертон постоянно напоминал, что он — «упорствующий в правоверии», и в этом он снова едва ли не уникален теперь. Он никогда не уклонялся ни «вправо», ни «влево», не ставил ни на незаконный порядок, ни на незаконную свободу, но отстаивал единство доброй свободы и доброго порядка. Они нераздельны для него, они необходимы *вместе*. Во многих книгах это просто показано, как бы роздано героям, в нем самом — соединено, и уже поэтому он всегда стоит против мира. Качнет к «игровому сознанию», снимающему различие между добром и злом, к аномии, к анархии — те, кто попроще, признают Честертона своим, те, кто прозорливей, возненавидят. Качнет к насильственной добродетели — то же самое. А он упорно отказывается жертвовать ради порядка уважением к чужому пути, ради свободы — нетленными нравственными ценностями.

Поэтому книга о Франциске неполна без книги о Фоме. Как и многие герои Честертона, эти святые тоже

«вместе кроют мир». Опасно, если покажется, что эсхатологическая легкость Франциска исключает для христиан спокойную разумность Фомы. Но опасно и другое (теперь, в отличие от 60-х годов или XIX века, чаще забывают именно это). Обратившись, люди нередко обретают какое-то неприятнейшее, важное благополучие. Некоторые считали, что оно есть у Честертона. Это не так. Иоанн XXIII, «папа XXI века», снова напавший миру о незащищенности, вызове и милости христианства, прекрасно поладил бы с таким апологетом. Но в самом трактате о Фоме радость и здравомыслие не всегда уравновешены той скорбью и тем «безумием», без которых христианства нет. Видимо, «Франциска» без «Фомы» публиковать не так опасно, как «Фому» без «Франциска». Или, точнее, теперь опасно публиковать одного «Фому», лучше подождать, пока у нас не станет меньше неопитов, которые как бы выше незнания, сомнений, страданий. (Именно «подождать» — сделать здесь что-либо трудно.) Конечно, такой же «оскорбительный оптимизм» есть повсюду; но в христианстве он очень уж странен — где же глубина и мудрость Писания? Приходится помнить о том, что это — реакция на тьму и полную растерянность.

Наконец, еще одна трудность, уже не внутренняя, а внешняя. Наверное, время повлияло на трактаты — часто мы (те, кто открыл и полюбил Честертона тридцать или сорок лет назад) сами думаем, что он устал. Случайно ли в самом конце 60-х — начале 70-х появился в России Клайв Стейплз Льюис? Начинались годы, когда с самыми простыми нравственными понятиями стало твориться что-то странное. Может быть, такая усталость, все ближе подводящая к полной аномии, была неизбежной — рассыпались идеалы, а это всегда опасно, хотя не опасней идолопоклонства. Строгий, взрослый Льюис тоже лишен важности и слащаво-

сти, но он обращен к иным людям, живущим на другой ступени лестницы, ведущей прочь от веры и от нравственности. Честертон сегодня может показаться уже не легким, а легковесным, словно мы старше его. Но не исключено, что это иллюзия. Очень вероятно, что его простота и радость вообще неподвластны времени, связаны лишь с вечностью, и правы те, кто считает его мистиком, визионером, видящим преображенный мир.

И самое последнее: для таких книг, как эта, условия сейчас не очень благоприятны. Важности, пошлости, слащавости, просто какой-то дикости вокруг «религиозных тем» уже столько, что даже Честертон может вызвать инстинктивную неприязнь как раз у самых чутких и чувствительных людей. Легче всего понять именно их.

И все-таки, сколько бы сомнений ни вызывали его книги, повторим то, что сказал С. С. Аверинцев в послесловии к первому сборнику очерков Честертона: «...честертоновское видение вещей сплошь да рядом бывает вызывающе неверным в конкретных частностях и неожиданно верным, даже точным в том, что касается общих перспектив, общих пропорций... Любая тема — предлог, чтобы еще, и еще, и еще раз поговорить о самом главном: о том, ради чего люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое ядро человеческого достоинства... Неистощимый, но немного приедающийся поток фигур мысли и фигур речи, блестящий слог, как поблескивание детской игрушки, — и после всего этого шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце. Все ради них и только ради них»¹.

Н. Трауберг

¹ Честертон Г. К. Писатель в газете. С. 336.

Вечный человек

Введение

(План этой книги)

Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома; но если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой. В одной из моих книг я поведал о таком путешествии. Теперь я хочу написать другую, которая (как все ненаписанные книги) лучше всего, что я писал до сих пор. Однако мне кажется, что я так и не соберусь за нее приняться, и потому я воспользуюсь сейчас этим образом. На пологих склонах долин — быть может, тех самых, где выцарапаны древние белые лошади, — жил мальчик, которому очень хотелось найти могилу или статую великана. Однажды он отправился на поиски, отошел подальше и увидел, что собственный его огород, сверкающий на солнце, словно яркий, многоцветный щит, — часть необъятного тела. Он просто жил на груди великана и не видел ее, так была она огромна и так близка. Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает сам за себя, и в этом — суть моей книги.

Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего увидеть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните на него извне. Популярным хулителям христианства не удастся его так увидеть. Они, в полном смысле слова, топчутся на ничьей земле и не уверены даже в своих сомнениях. Нападают они не прямо, а как-то сбоку и бьют не по важному, а по случайным нашим свойствам — вспомните столь привычную ныне антиклерикальную болтовню. Они обличают трусость

священника, чью проповедь нельзя прервать, и говорят, что он окопался на кафедре, хотя не считают окопом редакцию газеты. Ни журналист, ни священник не заслужили обвинения в трусости, но журналисты все же больше заслужили этот упрек. Священник показывается нам, мы можем его ударить, когда он вышел из церкви; журналист нередко скрывает даже свое имя. Нет конца статьям и письмам о том, что церкви пусты, но никто не потрудится зайти и посмотреть, пусты ли они или какие из них пусты. Антиклерикалы и агностики провозвестили всеобщий мир; их, а не нас поразила (во всяком случае, должна была поразить) всеобщая война. Если Церковь опозорена войной, ковчег опозорен потопом. Когда мир сбивается с пути, это лишь доказывает, что Церковь с пути не сбилась. Она оправдана не тем, что мы безгрешны, а тем, что мы грешны. Но так уж относятся теперь к церковному преданию — отрицают его, и все. Хорошо, когда мальчик живет на земле своего отца; хорошо, если он отошел подальше и увидел свой дом. Но нынешние критики — ни там ни сям. Они застряли в овраге, откуда не увидишь вершин. Они не могут стать христианами, не могут и забыть о христианстве. Вся суть их, все дело — в противлении, потому они так мрачны, несправедливы, придирчивы. Они томятся в тени веры, но утратили ее свет.

Конечно, лучше всего быть так близко от нашего духовного дома, чтобы его любить; но если вы не можете этого, отойдите от него подальше, иначе вы его возненавидите. Лучший судья христианству — христианин, но следующий за ним, скажем, последователь Конфуция. А вот хуже всего именно тот, кто особенно рад судить, — непросвещенный христианин, превращающийся в агностика. Его втянуло в конец распри, начала которой он так и не понял, и он устал слушать о том, о чем и не слышал. Он не может судить о христианстве спокойно, как сторонник Конфуция, или как

сам бы он судил о конфуцианстве. Он не может волей воображения перенести Церковь за тысячи миль, под странные небеса Востока, и судить о ней беспристрастно, как о пагоде. Говорят, святому Франциску Ксаверию не удалось построить в тех краях церковь, вознесшуюся выше всех пагод, отчасти потому, что другие миссионеры утверждали, будто он и его помощники изображают апостолов в виде китайцев. Но гораздо лучше увидеть в них китайцев, чем безликих идолов или фигурки в тире, по которым может стрелять пуштоловый горожанин. Лучше увидеть в христианстве чужой, азиатский культ, в митре епископа — странный убор бонзы, в посохе — извившийся змеей жезл, в четках — молитвенное колесо. Тогда мы хотя бы не разъяримся, как скептики, и не поглупеем, как они. Их нелюбовь к священству стала атмосферой, необоримой атмосферой враждебности. По сравнению с ней было бы лучше увидеть Церковь на другом континенте или на другой планете. Было бы мудрее спокойно взирать на бонз, чем раздраженно ворчать на епископов. Лучше пройти мимо церкви, как мимо пагоды, чем топтаться на пороге, не решаясь ни войти и помочь, ни уйти и забыть. Тем, кому не дает покоя отвлечение к моей вере, я искренне советую увидеть в апостолах китайцев, другими словами, судить о христианских свя-тых так же справедливо, как о языческих мудрецах.

Теперь мы подходим к самому главному. Я попытаюсь показать в этой книге, что, если мы увидим Церковь извне, мы обнаружим, как она похожа на то, что говорят о ней изнутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что великан очень велик. Когда мы увидим христианскую церковь под далеким небом, мы убедимся, что это — Церковь Христова. Словом, как только мы станем беспристрастными, мы поймем, почему к ней относятся с таким пристрастием. Об этом стоит поговорить немного подробнее.

Я понял, что повесть о Боге неповторима, — и сразу вслед за этим понял, что неповторима и повесть о человеке, которая вела к ней. Христианство поражает, если честно сравнить его с другими религиями; точно так же поражает человек, если сравнить его с природой.

Самые современные ученые изощряются в софизмах, чтобы смягчить переход от животного к человеку и не менее резкий переход от язычества к христианству. Чем больше мы узнаем об этих переходах, тем резче и поразительней становятся они для нас. Ученые же не видят их именно потому, что пристрастны, потому, что не хотят видеть разницы между черным и белым. Поддавшись досаде и протесту, они доказывают, что белое — грязновато, а черное — не так черно, как его малюют. Я отнюдь не хочу сказать, что для протеста нет причин; я не говорю, что позиция таких ученых непонятна и непростительна, я просто говорю, что она далека от научной объективности. Можно сказать, что иконоборец — в ярости, можно сказать, что он — в праведном гневе, но вряд ли можно сказать, что он беспристрастен. Только из чистого лицемерия можно обвинить в беспристрастии абсолютное большинство поборников эволюции, разоблачителей христианства и авторитетов по сравнительному изучению религий. Да и как им быть беспристрастными, какое может быть беспристрастие, когда весь мир спорит не на жизнь, а на смерть о том, великая ли надежда ведет нас, или сбивает с толку глупое суеверие?

Я не собираюсь быть беспристрастным, но я постараюсь все же быть беспристрастней, чем они. Я постеснялся бы говорить о далай-ламе тот вздор, который они несут о Папе Римском, или ругать Юлиана Отступника, как они ругают иезуитов. Ученые не беспристрастны, они не соблюдают даже своих, ученых правил, особенно же пристрастны они, когда предпочитают быстрой перемене медленные, постепенные изменения. Они видят повсюду, как сгущаются сумерки, ибо